

А.А. Медведев

**ЖАНР «ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ» В. РОЗАНОВА
И ФРАНЦУЗСКАЯ ЭССЕИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
(Б. ПАСКАЛЬ, М. МОНТЕНЬ, А. АМИЕЛЬ)**

Розановское эссе формируется не только в контексте русской эссеистической традиции («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского), но и французской. «Мысли» Б. Паскаля, «Опыты» М. Монтеня и «Дневник» А. Амиеля следует рассматривать в качестве генетической формы для розановских «опавших листьев».

В 1909 г., размышляя о кризисе художественной формы, Розанов отмечает, что литература «разложится на серию типичных личностей данной нации, как бы говоривших перед Богом и человечеством от лица этой нации; сказавших исповедание я. <...> пространно, отрывочно, сложно»¹. Безусловно, для Розанова Паскаль – это личность нации («Авраам своего народа»), исповедально говорившая перед Богом и человечеством от ее лица.

Фигура Паскаля оказалась близка Розанову прежде всего тем, что в Новое время он совершил поворот к Средневековью. Розанов также отвергает принципы Нового времени, возвращаясь к средневековой системе ценностей. Возрождение и Новое время он воспринимал как трату накопленного в средние века духовного потенциала («отречение человека от себя»). В противоположность великому христианскому «самоограничению человека» в Средневековье основным принципом Нового времени становится индивидуализм. В декадентстве как его предельном выражении Розанов видел разрушение личности как христианской ценности, спасти которую может только «монастырская стена»².

Этот возврат к Средневековью у Паскаля и Розанова связан с неприятием славы, которую Г. П. Федотов определил как одну из ключевых ценностей в формуле европейского гуманизма³. Эту ренессансную ценность Паскаль подвергает резкой критике с христианских позиций: «Слава. – Восхищение развращает человека с молодых ногтей»⁴. Критика «славы» является едва ли не главной в розановском неприятии литературы. Культуру XVII века – «века классического духа», ключевым явлением которого представляется Паскаль, – Розанов любит, потому что тогда

«себе ничего не искали»: «В XIX в. все немножко проститутки (и аз грешный), все мы тянемся перед миром и жаждем: “Рассматривай нас”, “не правда ли, как мы занимательны?”, “как умны”»⁵. Уже здесь звучат интенции средневековой «рукописности», выразившиеся в розановском «Уединенном»: «В средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература во многих отношениях была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодотворна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности» (Опавшие листья. Короб первый).

Важным событием в формировании розановского эссе стало прочтение им в 1889 г. «Мыслей» Паскаля (СПб., 1888)⁶. В рецензии Розанова на эту книгу проявляются основные принципы эссеистичности. Главным критерием литературы для Розанова является не вымысел, а онтологическое выражение «духовной жизни человека»⁷. Не человек обосновывается через жанр, а жанр обосновывается индивидуальностью личности. Уникальность произведения, стиля определяются неповторимостью личности автора и его жизненного опыта, слово адекватно выражает личность автора вплоть до его интонаций: «Синтез духовной организации писателя и его судьбы, данного ему природой и привнесенного к этому жизнью, психическая настроенность звучит в каждом его слове, проникает всякую его мысль, кладя на них своеобразный оттенок»⁸. Сам Паскаль это сформулировал так: «Когда читаешь сочинение, написанное простым, натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься: думал, что познакомишься с автором, и вдруг обнаружил человека!» (622). Эту принципиальную для эссе установку на личностный, бытийный опыт Розанов воплотит в «опавших листьях»: «“вся его жизнь” и вся его “личность” перешла, естественно и неодолимо для него самого, в “написанное им”»⁹. Розанову важен *предсмертный* характер «Мыслей»: «они – последний плод, который принесла эта жизнь, странные и глубокие слова, которые он не успел еще окончить, когда могильный холод уже навек закрыл его уста»¹⁰. Тема смерти будет ключевой в «опавших листьях».

Одним из ключевых принципов розановского эссе, вытекающих из его личностного характера, является установка на *переживание* и *впечатлительность*, непосредственное, свежее впечатление первого взгляда, в котором отражается истина¹¹. Такой впечатлительностью, по Розанову, обладал и Паскаль: «на что бы он не взглянул, он видел новое. Можно сказать, никогда не рождался человек с столь свежее впечатлительностью»¹².

Как известно, то, что дошло до читателя в качестве «Мыслей» – разрозненные обрывки черновика. Паскаль писал свои заметки на больших листах бумаги и отделял одну от другой жирной чертой. Задумав план «Апологии», Паскаль разрезал эти листы и частично распределил по темам, но смерть помешала осу-

шестьдесят замысел до конца и опубликовать «Апологию». В своем восприятии «Мыслей» Розанов подчеркивает прежде всего их *нелитературную рукописность, черновую неотделанность, незавершенность, фрагментарность* («до крайности разрозненные, местами представляя почти непонятные обрывки», «собрание заметок, написанных на клочках бумаги») как признак их *непосредственности*: «Нравственно-религиозные истины, в ней содержащиеся, шли из самой глубины сердца ее творца, были плодом всего его душевного развития. Почти не нужно сожалеть, что она не была доведена до конца, приведена в порядок и обработана. Эта обработка, наложенная разумом, это приведение в связь и сопоставление слов, так невольно и мимолетно вырвавшихся, не могло, придавая стройность целому, не отнять свежести у частей»¹³. Именно эти черты паскалевской нелитературной рукописности (незавершенность, необработанность, фрагментарность, мимолетность), выражающие непосредственность излияния, станут ключевыми в розановских «опавших листьях» – записях, которые он постоянно заносил на то, что было у него под рукой (клочок бумаги, почтовая расписка, приглашение, транспарант и т. д.): «Жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, почувствования... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что “сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, – без всего постороннего... Просто, – “душа живет”... т. е. “жила”, “дохнула”... (...) они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, – и они умирают. (...) И вот я решил эти опавшие листья собрать» (Уединенное).

В адекватном воплощении души Паскаля в «Мыслях» проявляется его духовная чистота: «Чистая» книга «говорит моему сердцу»¹⁴, «Паскаль – чистое золото в религии; говорил от сердца, а ум его был неизмерим»¹⁵. Книга Паскаля – «мост между святым содержанием Евангелия, и жаждою святого в человеческом сердце», «в скорбное сердце она проливает утешение»¹⁶. В этом восприятии «Мыслей» звучит псалмическая интенция и интонация «de profundis». Особенно она слышна у Паскаля и Розанова в их молитвах. В век деизма Паскаль совершает невероятное – устанавливает горячие, огненные отношения («ОГОНЬ – FEU») с Живым Богом, являющимся человеку в личном откровении и входящим с ним в личные отношения, как в явлении Бога Моисею в Неопалимой Купине (Исх. 3, 4-6, 14-16; Деян. 7, 31-32): «Joie, Joie, Joie, pleure de joie – Радость, Радость, Радость, Слезы радости. Je m'en suis séparé – Я разлучился от Него. Dereliquerunt Me fontem aquae vivae – Они оставили Меня, Источник воды живой. Mon Dieu, me quitteriez-vous? – Боже мой, неужели Ты оставишь меня? Que je n'en sois pas séparé éternellement! – Да не буду отлучен я от Него во веки!»¹⁷. В псалмической традиции личного откровения Бога человеку находится и Розанов, у которого постоянно прорывается псалмический

модус, близкий паскалевскому «Богу любви и утешения» (800-801): «Бог мой! вечность моя! Отчего же душа моя так прыгает, когда я думаю о Тебе...» (Уединенное); «Бог мой, Вечность моя: отчего Ты дал столько печали мне?» (Опавшие листья. Короб первый); «Боже Вечный, стой около меня. Никогда от меня не отходи» (Опавшие листья. Короб второй).

Русскому сознанию Паскаль оказался близок кенотическим типом религиозности. Личное откровение Бога захватило Паскаля подобно явлению Христа ап. Павлу на пути в Дамаск. Паскаль цитирует ап. Павла («*Comminuentes cor* (Сокрушенное сердце (*лат.*)) (святый Павел) – вот истинная суть христианской натуры» (822)), проповедует «Христа распятого» (1Кор. 1, 23) (844), «благое безумие Креста» (1Кор. 1, 17-21) (863). Может быть, в этом одна из скрытых причин особого притяжения к Паскалю в русской культуре¹⁸. Размышляя о метафизическом безумии Гоголя, выразившемся в сожжении второго тома «Мертвых душ» и его смерти, Розанов проводит параллель с Паскалем: «Гоголь кончил безумием, но гениальным и гениально, <...> как *на границе* этого “безумия” прожил всю жизнь знаменитый Паскаль, коего “*Pensées*” не то же самое, а, однако, родственны с “Перепискою” Гоголя» (Отчего не удался памятник Гоголю?, 1909)¹⁹.

Этой кенотической традицией «Павлова христианства» живет и сам Розанов. Огненное «крещение» Паскаля 23 ноября 1654 г., перелом всей его жизни («Мемориал») сродни духовному перелому Розанова в его христианской кончине. О его предсмертном духовном перевороте от яростного христорчества к церковному исповеданию Христа можно судить по дневнику Н. В. Розановой: «Надя, по-моему, я похож на Христа, снятого с креста. <...> я не сравниваю себя с Христом, но эти ужасные изломы, эти кости напоминают мне страдание Христа, его погребение”. <...> Он все твердил, что везде во всем видит знак Креста, и крестил окружающих. <...> И часто, часто он говорил: “Христос Воскресе. Обнимаемся все, все! Радость вокруг”»²⁰.

О знакомстве Розанова с «Опытами» М. Монтеня, благодаря которым эссе возникло как жанр и получило свое название («*Essais*», 1580-1588), свидетельствует статья 1906 г. памяти профессора Московского университета Н. И. Стороженко, преподававшего Розанову историю всеобщей литературы, в том числе, скорее всего, и Монтеня. Это эссе Розанов завершает пожеланием «во вкусе Монтеня», «гуманиста» XVI в.: «А тебе, добрый и милый наставник, вечная память среди живых и радостный отдых<...> “в Елисейских полях”»²¹.

Вступление «Уединенного» развивает интенции монтеневского обращения к читателю в предисловии к «Опытам». Монтень постулирует онтологичность своей личности в книге, цель которой – воплотить «я» в тексте («содержание моей книги – я сам»). Следующий признак книги Монтеня – *искренность*, кото-

рая звучит уже в самом вступлении: «Это искренняя книга, читатель»²². Монтеневское и розановское вступления сближаются *тоном* – тоном свободного, непринужденного обращения к читателю, предполагающим его абсолютную свободу и равноправие автору. Монтень снимает с себя маску писателя. Этот тон ломает литературную чопорность, условные отношения между автором и читателем²³. Как и в «Мыслях» Паскаля, в «Опытах» и в «Уединенном» перед нами не «автор», а человек.

По-розановски звучит отказ Монтеня от литературности («я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных»), прагматизма и литературной славы: «Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе». Цель «Опытов», носящих предсмертный характер, – сохранить образ своей личности для родных: «доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне»²⁴. Это желание в предчувствии смерти запечатлеть для близких «кое-какие следы моего характера и моих мыслей» напоминают розановские мимолетные «восклицания, вздохи, полумысли, полочувства», «звуковые обрывки», «что “сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, – без всего постороннего...» (Уединенное), а также причину написания «Уединенного»: «Только болезнь мамочки и страдание, ею вызванное, заставило напечатать “мои грустные мысли” – впервые. Она умирает. Пусть же “через эти мысли (Гутенберг) мы будем вечно соединены”»²⁵.

С Монтенем Розанова сближает и отказ от идеализации своей личности, противоположная официальному, парадному миру предельная (до природной телесности) домашность, выражающая естественную свободу личности: «Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и по-сейчас еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом»²⁶. Монтень постулирует возрожденческую свободу личности, ее естественность.

Эта свобода звучит и в нелитературной, эпатажной адресации к читателю: «Содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!»²⁷. Как

к свободной личности: к читателю относится и Розанов: «Зачем? Кому нужно? Просто – мне нужно. <...> И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину (выгоднее, не разрезая и ознакомившись, лишь отогнув листы, продать со скидкой 50% букинисту). Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, – можешь и ты не церемониться со мной <...> И au revoir до встречи на том свете» (Уединенное). Как и Монтень, Розанов прощается с читателем по-французски.

Казалось бы, что Монтень слишком далек от Паскаля и Амиеля своим язычеством. Однако антихристианство Монтеня является мифом, который развенчал А. Ф. Лосев («Эстетика Возрождения»). По Лосеву, Монтень предстает в «Опытах» «не в качестве догматика, но в качестве только ищущего истину», выступая «против показного благочестия, но вовсе не против самого благочестия». Эстетику Монтеня Лосев формулирует как «тонкую текучесть внутренне-личностного самочувствия», для которого характерна релятивистская оценка действительности. Эта формулировка вполне приложима и к Розанову.

В 1894 г. Розанов прочел выдержки из «Дневника» швейцарского профессора философии А. Амиеля, открытого русскому читателю Л. Н. Толстым²⁸. Со славянофильских, православных позиций Розанов увидел в религиозном поиске Амиеля результат западноевропейского нигилизма. Критерием истинной веры для Розанова является, согласно «доброму, ласковому, мудрому учению восточных отцов церкви»²⁹, радость, которая отсутствует в духовном томлении Амиеля: «Что за нужда *томиться* о религии, *искать* ее, нежели в радости и спокойствии продолжать в руках *найденное* сокровище. Амиель бесконечно глубок и прекрасен, но ведь и бесконечно *несчастен* – это видно из каждой строки его дневника. Зачем же народ, толпу кидать в это несчастье, когда, пребывая в церкви, склонив покорно голову (и Амиель говорит, нужно *послушать* Бога, покориться), – весел, радостен и потому бодро трудится. <...> Просто Бог оставил за непослушание человека, как некогда Саула; весь XIX в. – Саулова история с народами»³⁰.

Однако следует обратить внимание на предисловие Толстого (1894) к «Дневнику» Амиеля. Основные черты «дневника», сформулированные Толстым, определяют контуры будущей художественной парадигмы Розанова. Толстой подчеркнул эссеистичность дневника, противопоставив его литературным формам: «Все, что Амиель отливал в готовую форму: лекции, трактаты, стихотворения, было мертво; дневник же его, где, не думая о форме, он говорил только сам с собой, – полон жизни, мудрости, поучительности, утешения, и навсегда останется одной из тех лучших книг, которые нам нечаянно оставляли люди, как Марк Аврелий, Паскаль, Эпиктет»³¹. В 1909 г., накануне создания «Уединенного», Розанов, уже не предъявляя славянофильских претензий к Амиелю, в духе

этой толстовской антитезы «готовой формы» и «дневника» акцентирует важнейшую для него *документальность* текста: Амиель, «давший страницы бесподобной красоты и глубины», является «беспримечательным примером» неофициальной, нелитературной, «подпольной литературы». Розанов осознает исчерпанность, недостаточность художественных жанров (с их искусственностью, условностью, построенностью) и актуальность документальной, личностно выраженной формы – «душевной, внутренней мысли автора»³².

Толстой подчеркивает «бессознательность и искренность» Амиеля, не думающего о читателе, в силу чего и действующего на него особенно сильно: «Он говорит сам с собою, не думая о том, что его слушают, не старясь казаться уверенным в том, в чем он не уверен, не скрывая своего страдания и искания»³³. «Говорил только сам с собой» – эта толстовская фраза неоднократно встречается в рефлексии Розановым своей художественной формы: «“Уединенное” – без читателя»; «Новое – тон, опять – манускриптов, “до Гуттенберга”, для себя»; «сколько я ни усиливался представлять читателя, никогда не мог его вообразить. <...> я всегда писал *один*, в сущности – для себя. <...> Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собою говорю» (Уединенное). Толстой объясняет искренность и задушевность дневника Амиеля его домашней интимностью: «Как будто присутствуешь без ведома хозяина при самой таинственной и глубокой, и страстной, обыкновенно скрытой от постороннего взгляда, внутренней работе души. И потому можно найти много более стройных и красноречивых выражений религиозного чувства, чем выражения религиозного чувства Амиеля, но трудно найти более задушевные и хватающие за сердце»³⁴. Этой же домашней интимностью, таинственной «уединенностью», «рукописностью» души Розанов определяет новизну «Уединенного»: «Предстояло устранить это опубликование. И я, который наименее опубликовывался уже в печати, сделал еще шаг внутрь, спустился еще на ступень вниз против своей обычной “печати” (халат, штаны) – и очутился “как в бане нагишом”, что мне не было вовсе трудно» (Уединенное).

В «Эмбрионах» (1899), по своей форме близких «Дневнику» Амиеля, Розанов высоко оценил его форму, назвав его «благоухающим, тонким, глубоким, столь благородным». При этом, уже с других, онтологических позиций, критикуя христианство, Розанов отмечает его «ужасную *пассивность* – отсутствие страстных, деятельных и, следовательно, жидущих в авторе эмоций». Продолжая толстовское сравнение Амиеля с «Размышлениями» Марка Аврелия, Розанов видит в них «благоухание смерти», противопоставляя им Буслаева и Петра I как «людей рождающей эпохи»: «Тот и другой труд суть равно произведения сумеречные, осенние, – произведения того времени исторического года, когда соки в людях-растениях бегут не вверх, не поднимают их, но стремятся вниз, к земле и в землю. Бездна ума,

критики у Амиеля, и – никакого творчества»³⁵. Однако спустя 12 лет сам Розанов не отличится оптимизмом: «Самая почва “нашего времени” испорчена, отравлена. И всякий дурной корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет»; «Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...» (Опавшие листья. Короб второй). Трилогию «опавших листьев» можно обозначить как «сумеречную, осеннюю». Мотивы осени, заданные как камертон во вступлении «Уединенного» («Шумит ветер в полночь и несет листья... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства...»), становятся ключевыми в «Опавших листьях», выражая тему смерти в начале первого короба («Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла») и второго («Чем старше дерево, тем больше падает с него листьев»).

В своем предисловии Толстой цитирует горькие сетования Амиеля о прожитой жизни: «Что же я сумел извлечь из тех даров, которые мне были даны, из особенных условий моей полувековой жизни? Что я извлек из своей почвы? Разве все мои бумагомарания, собранные вместе, моя переписка, эти тысячи задушевных страниц, мои лекции, мои статьи, мои стихи, мои различные заметки – разве все это не есть только сухие листья! Кому и на что я когда-либо был нужен? И разве имя мое проживет хоть днем дольше меня и будет для кого-нибудь иметь какое-либо значение? Ничтожная, пустая жизнь! *Vie nulle*»³⁶. И не из этих ли «сухих листьев» Амиеля – «опавшие листья» Розанова? О том, что любовь к Амиелю как писателю Розанов пронес через всю жизнь, свидетельствует А. И. Цветаева, которой Розанов в 1914-1917 гг. «очень советовал, хвалил» книгу Амиеля³⁷.

«Мысли» Паскаля, «Опыты» Монтеня и «Дневник» Амиеля, несомненно, были книгами, определившими путь Розанова к новой художественной форме «опавших листьев». Розанов преломил в своем опыте религиозность Паскаля, свободу Монтеня и ощущение смерти у Амиеля.

Слова Толстого, вспоминающего Паскаля («я на стороне того, кто, тяжело стеною, неустанно ищет» (695)), объемлют не только религиозные искания Паскаля, Монтеня, Амиеля, Толстого, но и Розанова: «Я думаю, что те, которые всем сердцем своим и страдая (*en gémissant*, как говорит Паскаль) ищут Бога, уже служат Ему. Служат тем, что этими страданиями прокладывают и открывают для других путь к Богу, как это сделал сам Паскаль в своих “Мыслях” и как это всю свою жизнь делал Амиель в своем дневнике»³⁸. В этих словах – ключ к пониманию обращения Розанова к французским эссеистам.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Розанов В. В. О письмах писателей (1909) // Собр. соч.: О писательстве и писателях. М., 1995. С. 430.

- ² Розанов В. В. Декаденты (1896) // Собр. соч.: Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 417-418, 420.
- ³ Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 329-330.
- ⁴ Паскаль Б. Мысли // Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004. С. 654. Далее сноски на «Мысли» даются по этому изданию с указанием в тексте страницы цитирования.
- ⁵ Розанов В. В. Собр. соч.: Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 309-310.
- ⁶ Паскаль Б. Мысли (о религии) / Пер. П. Д. Перлова. СПб., 1888; изд. 2-е. М., 1899; изд. 3-е. М., 1905.
- ⁷ Розанов В. В. Паскаль (1889) // Человек. 2001. №4. С. 84.
- ⁸ Там же. С. 85.
- ⁹ Розанов В. В. Собр. соч.: Сахарна. М., 2001. С. 225-226.
- ¹⁰ Розанов В. В. Паскаль. С. 87.
- ¹¹ Розанов В. В. Собр. соч.: О писательстве и писателях. М., 1995. С. 300.
- ¹² Розанов В. В. Рецензия на кн.: [Б. Паскаль. Мысли (о религии). С предисловием Прев-о-Парадоля / Пер. с франц. П. Д. Перлова. 2-е изд., исправл. М., 1899 // Новое время. Иллюстр. приложение. 1899. 6 октября. С. 7-8.
- ¹³ Розанов В. В. Паскаль. С. 97.
- ¹⁴ Розанов В. В. Рецензия на кн.: Б. Паскаль...
- ¹⁵ Розанов В. В. Один из певцов вечной «весны» (1909) // Собр. соч.: О писательстве и писателях. М., 1995. С. 368.
- ¹⁶ Розанов В. В. Рецензия на кн.: Б. Паскаль...
- ¹⁷ Перевод Н. С. Арсеньева: Арсеньев Н. С. О Жизни Преизбыточествующей. Брюссель, 1966.
- ¹⁸ См.: Стрельцова Г. Я. Без Паскаль. М., 1979; Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004.
- ¹⁹ Автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» Толстой называл «нашим русским Паскалем» (Толстой Л. Н. Письмо П. И. Бирюкову от 5 октября 1887 г. // Толстой Л. Н. ПСС. М., 1953. Т. 64. С. 98-99; Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г. // Толстой Л. Н. ПСС. М., 1953. Т. 64. С. 106-107). Паскаля и Гоголя Толстой сближал в их религиозной переоценке науки и искусства: «Тот понял несвоевременное место, которое в его сознании занимала наука, а этот – искусство» (Там же).
- ²⁰ На последнем изломе: В. В. Розанов в записках дочери / Публ. В. Сукача // Литературная газета. 1999. 10 февр. (№6). С. 12.
- ²¹ Розанов В. В. Собр. соч.: Около народной души. М., 2001. С. 13.
- ²² Монтень М. Опыты. Избр. произв.: В 3 т. М., 1992. Т. 1. С. 5.
- ²³ Позднее Розанов опишет свою установку на свободу читателя как катастрофичную для литературно-стереотипного сознания последнего: «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рывтины. – Что это? – ремонт мостовой? – Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай. (на Невском, ремонт)» (Опавшие листья. Короб первый).
- ²⁴ Монтень М. Опыты. С. 5.
- ²⁵ Розанов В. В. Собр. соч.: Сахарна. М., 2001. С. 271, 257.
- ²⁶ Монтень М. Опыты. С. 5.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Из дневника Амиеля (1881) / Пер. с фр. М. Л. Толстой, под ред. и с предисл. Л. Н. Толстого // Северный Вестник. 1894. №1. Отдельным изданием эта публикация вышла в издательстве «Посредник» (М., 1908).
- ²⁹ Письмо В. В. Розанова Н. Н. Страхову (июль 1894 г.) // Собр. соч.: Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 303.
- ³⁰ Там же.

- ³¹ Толстой Л. Н. Предисловие к Дневнику Амиеля // ПСС в 90 т. М., 1954. Т. 29. С. 210.
- ³² Розанов В. В. О письмах писателей. С. 433.
- ³³ Толстой Л. Н. Предисловие к Дневнику Амиеля. С. 211.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ Розанов В. В. Эмбрионы // Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 226. В 1911 г., продолжая эту мысль, Розанов воспринимает Амиеля и Аврелия как христианских «выразителей мирового “не хочу”» (Розанов В. В. Собр. соч.: В темных религиозных лучах. М., 1994. С. 278-279).
- ³⁶ Толстой Л. Н. Предисловие к Дневнику Амиеля. С. 210.
- ³⁷ Васильев Г. К., Никитина Г. Я. Стихотворение А. Цветаевой «80 лет»: Текстологический анализ // Филологический дискурс. Тюмень, 2004. Вып. 4. С. 166. Цветаевой удалось прочесть эту книгу только в 1974 г., она произвела на нее сильное впечатление: «И сроднясь с Амиэлем, простилась с ним. <...> Я хочу дать перепечатать ее, хранить машинопись. <...> буду снова жить на его стр<ани>цах – и он оживать со мной» (Там же). О своем глубоком впечатлении от «Дневника» Амиеля Цветаева писала: «Амиеля запомнила, с 55 до 95 лет...» (Письмо А. И. Цветаевой Д. С. Лихачеву от 12 ноября 1990 г. // Вестник РХД. Париж-Н.-Йорк-Москва, 2004. №2(188). С. 187).
- ³⁸ Толстой Л. Н. Предисловие к Дневнику Амиеля. С. 211.